

Максим Горький

Тимка



Максим Горький

Тимка

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=638885

Аннотация

«За окном моего чердака в нежных красках утренней зари прощально сверкает зеленоватая Венера.

Тихо. Старый, тесно набитый жильцами дом огородника Хлебникова мертво спит; это жалкий дом – серая развалина в два этажа, со множеством пристроек. Деловитый, купеческий город выгнал его на окраину, к полям орошения, он торчит среди отбросов города безобразной кучей дерева, одиноко и печально. В нем живут люди, никому – да и себе самим – не нужные, жизнь измяла их, высосала и выплюнула в поле, вместе с содержимым выгребных ям...»

Максим Горький

Тимка

За окном моего чердака в нежных красках утренней зари прощально сверкает зеленоватая Венера.

Тихо. Старый, тесно набитый жильцами дом огородника Хлебникова мертво спит; это жалкий дом – серая развалина в два этажа, со множеством пристроек. Деловитый, купеческий город выгнал его на окраину, к полям орошения, он торчит среди отбросов города безобразной кучей дерева, одиноко и печально. В нем живут люди, никому – да и себе самим – не нужные, жизнь измяла их, высосала и выплюнула в поле, вместе с содержимым выгребных ям.

Все они ворчат, ноют, жалуются; ругают полицию, городскую управу, купечество, а всего больше и злее – друг друга. Чем они живут – нельзя понять, но кажется, что они высасывают друг из друга остатки жизненных сил и – этим сыты. Все они – безличны, их безличие особенно подчеркнуто тем, что многие женщины ходят в мужских пиджаках, а мужчины – в женских кофтах и кацавейках. Молодежи среди них – нет, и нет детей старше пяти, шести лет, – семилетние уже отправлены куда-то в город, «в работу», а маленькие – незаметны в доме, они, точно крысы, прячутся по уголкам, пугливые и всегда голодные. Только бывшая актриса Орлова, нищая и ростовщица, не отдала «в работу» своих вну-

чат-погодков Зинку и Сашку, сорванцов, которые совершенно одичали и возбуждают у жителей Хлебникова скрытую ненависть и явный страх. Их с наслаждением избили бы, но – нельзя: почти все должны старухе Орловой, в кабале у нее.

Смеются квартиранты Хлебникова редко и всегда злоратно; смеются над параличным чиновником Воронцовым, который девять лет хлопчет о восстановлении его в правах наследства к имуществу двоюродной сестры баронессы Торшоу; над чистенькой и аккуратной, точно кошка, старушкой Бердниковой, дочерью интенданта, умершего под судом, – она считается полуумной, потому что тоже всё хлопчет о восстановлении честного имени своего отца; смеются над больным дьяконом Любомировым, расстриженным «за незаконную любовь» – как он говорит, «за убийство в драке» – как утверждают другие.

Дьякон – огромный человек, очень волосатый, с маленькими глазками кабана и зубами лошади; он молчалив, задумчив и кажется смиренным человеком, но если при нем нарушается то, что он считает «порядком жизни», – он говорит могильным голосом:

– Взбучку дать!

В доме Хлебникова только один человек живет всем слышной и всеми видимой работой, – это бондарь Кешин, маленький крепкий человечек лет пятидесяти. Он такой же чистый и порядочный, как старушка Бердникова, головка у него маленькая, круглая, светло-желтой кости, ее красиво

окружает венчик седых кудрей, лицо – розовое, точно яблоко анис, и на нем серьезно блестят спокойные, разумные глаза. Говорит он мало, высоким бабьим голосом, и носит жиденькие, длинные китайские усы, концами вниз, – это делает его розовую мордочку умильной. Он просыпается раньше всех в доме и тотчас начинает колотить деревянным молотком по бочкам, кадкам, лоханям, – точно бьет в большой барабан.

Вот и сегодня – еще не погасла Венера, а уж меня разбудил непрерывный, назойливый звук: пам-пам-пам; пам-пам!

Недавно бондарь Кешин нанял подручного, двадцатилетнего хромого парня, с комической маской вместо лица; скуластый, как монгол, он был не курнос, как бы следовало, а украшен прямым и длинным носом, мягким, точно хобот, и смешно подвижным. На смуглой коже его лица ярко, точно рана, выделялись красные, всегда влажные губы, глаза у него овечьи, цвета бутылочного стекла. Угловатая голова густо заросла черной жесткой щетиной, ремешок на лбу вздымает ее дыбом. Лицо смешное и неприятное, тело – изломанное, левое бедро перебито, он ходит падающей походкой, закидывая левую ногу далеко в сторону.

Он одет в кумачную рубаху и синие нанковые штаны. Зовут его – Тимка.

На другой же день своей работы у бондаря Тимка привлек к себе общее внимание всех жителей хлебниковского дома, – утром, как только в огороде появились бабы-работницы и за-

пели модную песню:

Некрасива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это!

– на дворе Хлебникова зазвенел высокий тенор, передразнивая огородниц:

У верблюда есть гнездо,
У коровы – дети,
У меня нет никого,
Никого на свете!

Сначала бабы, согнувшись в три погибели и ползая между гряд, пели жалобную песню, не обращая внимания на ядовитые четверостишия бондаря, но он надоедал им, точно овод.

Я с пятнадцати лет
По людям ходила

– тянут они свою панихиду, а Тимка, постукивая молотком, дразнит:

Мне, девице, сорок лет,
Я вполне невинна...

Чистенький старичок Кешин, бросив работать, присел на обрубок дерева и засмеялся мелким, всхлипывающим смехом, восклицая:

– Ах ты, шутило, глядите-ко, ловко как!

Из окон дома высунулись серые измятые рожи, на двор вышли встрепанные, полуодетые люди, все улыбались, разглядывая Тимку, вслушиваясь в его пение, а он покачивался, ковыляя вокруг большой дубовой бочки, и пел, ловко и гулко постукивая молотком:

Я курноса и ряба,
Маленького росту...

– Чтоб те разорвало, окаянный! – крикнула какая-то огородница.

Это искреннее восклицание вызвало всеобщий восторг слушателей, все захохотали, и на грязном дворе стало необычайно весело. А тут еще из-за Панинской роци над полями орошения взошло солнце и зажгло ярким огнем выгоревшие стекла окон дома и парников.

В воздухе повеяло праздником; на дворе оживленно заговорили, и, вероятно, кое-кому показалось, что родился новый день, приятно непохожий на все прожитые.

– Вот – жулик! – говорит дьякон, с восхищением разглядывая Тимку. – Кешин! Где ты достал такого?

– Сам пришел, – сказал старый бондарь, усмехаясь и по-

глаживая усы.

А с крыльца раздался сердитый хозяйский вопрос:

– Чего это вы ржете?

Там стоял Хлебников, маленький, толстый, в сером пальто, похожем на арестантский халат. Его рыжеватые брови вздрагивали, как всегда, когда он был не в духе, пальцы рук, сложенных на животе, быстро шевелились.

Тимка разогнулся, взглянул на него овечьими глазами и дерзко запел:

Посмеялся мой подлец
Над клятвами своими!
Он – с одной мне изменил,
Я ему – с троими!

Снова все дружно захохотали, даже огородницы ответили на этот хохот слабеньким, смущенным эхом.

А Хлебников круто повернулся и ушел в сени, громко сказав:

– Урод.

Вскоре стало ясно, что Тимка привлек к себе внимание всех жителей дома Хлебникова, – внимание, за которым чувствовалась даже как будто симпатия к некрасивому певцу.

Вечерами, когда жители, по обыкновению, собирались у ворот посплетничать до ужина и до сна, дьякон просил Тимку:

– Ну-ко, спой чего ни то сурьезное!

– Какое – сурьезное? – спрашивал Тимка.

– Ну, сам знаешь, – пояснял дьякон.

Хромой, прикрыв глаза, запевал удивительно чистым и высоким голосом:

Два разбойничка вдоль Волги идут,
С камня на камень попрыгивают...

Это выходило у него очень хорошо, как-то так, что все понимали: разбойники – добрые, веселые ребята!

А навстречу им – молоденький бурлак,
Он идет, горюн, прихрамывает.

Бурлак – замученный такой, лицо тупое, глаза сонные, – без надежд парень.

– Хорошо поет, – говорит актриса Орлова, опуская долу свою седую, лохматую голову.

– Молчи, – советует дьякон, и все слушают безмолвно, неподвижно.

Заходит солнце, в поле, на холмах мусора, лежат красивые отсветы зари, раскаленно сверкают куски жести, стекла. Висят над полем пурпуровые клочья облаков, вдали синей тучей приникла к земле роща. Тихо.

Хромой стоит, прижавшись спиною к верее ворот, его смешное лицо как-то вытянулось, расправилось, стало при-

ятнее; его глаза прикрыты, он закинул длинные свои руки за шею, выставив локти, выгнув грудь, он поет удивительно легко, точно жаворонок.

Бурлак говорит разбойникам:

В белом свете – ни души у меня,
Только две сестрицы родные,
Одна сестра – моя горькая Нужда,
А другая – Недоля моя!

– Ишь ты, – вздыхает дьякон, а Орлиха снова бормочет:
– Хорошо, очень хорошо!

Тимка не обращает внимания на сочувственный шёпот, он, кажется, готов петь до утра.

Когда он кончил песню, дьякон сказал, почему-то очень сурово:

– Что же ты, дурачина, обручи набиваешь? Тебе надобно в хор поступать...

Тимка позевнул и отозвался:

– Сопьешься там. Певчие пьют завсегда.

– Имей характер! С таким голосом нельзя дурака валять.

Учиться надо.

– Так я – учусь, – равнодушно сказал Тимка. – В воскресную школу хожу по праздникам. Там нас барыня учит, Марья Тимофеевна, так у нее голосище – куда лучше моего. Я перед ней – котенок!

Он говорил о барыне с оживлением, которое трудно было

предполагать в нем, но его никто не слушал, кроме старика Кешина, – старый бондарь, сидя на лавке, разглядывал подмастерья озабоченно и серьезно, точно вещь, которую собирался купить. Вдруг над головою Кешина распахнулось окно, и раздался голос Хлебникова:

– Вы что же, братия, забыли, что теперь идет час всеобщей службы, ведь ныне – суббота. Невежи, бесстыжие рожи! Я молиться встал, а у вас тут... а ты, парень, ая-яй! Не зря тебя господь наказал, болвана...

Окно с треском захлопнулось, все молчали.

– Хозяин? – спросил Тимка.

– Хозяин, – сказал дьякон, а Орлиха прибавила, искривив суровое свое лицо:

– Богомолец наш.

– Пойду спать, – объявил Тимка и спокойно, не спеша, ушел во двор.

– Талант, – тихонько сказала Орлиха вслед ему и шумно вздохнула.

Вокруг – очень грустно; поле, засоренное разным хламом, вонючий овраг, вдали – черная роща и нефтяные цистерны, всюду протянулись бесконечные заборы. Кое-где сиротливо торчат ветлы и березы.

Ни одного яркого пятна, всё выцвело, слиняло, небо испачкано дымом химического завода, а в центре этой бескрайней жизни – грязный, полусгнивший дом Хлебникова; у ворот его молча сбились тесной кучей отжившие люди.

Тимка быстро подружился с огородницами, и бойкие, бесстыжие бабы, окружая его, точно овцы пастуха, относились к нему с чувством, близким к почтению. Забавно было видеть, с какой завистью они заглядывали в рот ему, когда он пел свои хорошие песни. Их старшая, костромичка лет пятидесяти, крупная и сильная, с кумачным лицом и наглыми глазами, просила его певуче, слащаво:

– Ну-ко, спой-ко ты нам, соловеюшко наш хроменький!

Он охотно пел, и огородницы наперерыв предлагали ему свои бабы услуги – починить рубаху, выстирать ее. Он даром чинил квартирантам Хлебникова лохани, кадки, ведра, но во всем, что делалось им, не было заметно увлечения, он относился ко всему – удивительно равнодушно и жил точно во сне.

Говорил мало, неохотно и неумело, – всегда что-то не то, чего ждешь. В общем Тимка был фигура невеселая, но всё же до него люди в доме Хлебникова жили сердито и мрачно, а теперь – с утра Тимка передразнивает огородниц, целый день около него вертятся и орут внучата Орловой, хохочут жители, а Кешин, неумоимо набивая обручи, как бы руководит всеми звуками, но остается недосыгаем волнениям, вносимым Тимкой.

По вечерам, во дни плохой погоды, Тимка является ко мне на чердак пить крепкий калмыцкий чай с баранками и слу-

шать чтение стихов. Стихи он любит, но читать их сам не решается, хотя и хорошо знает грамоту.

– А ловко складено, – говорит он, выслушав стихотворения.

– Возьми, почитай!

– Нет, не надо...

– Почему же?

– Больно много написано, до середины дочтешь – начало забудешь.

– Да ведь здесь почти на каждой странице особое напечатано.

– Нет, не надо, – упрямо твердит Тимка.

У него в зеленом сундучке, расписанном пунцовыми цветами, накоплено много «песенников» – листовок, но они ему не нравятся.

– Не те песни, – говорит он.

– А тебе какие нужно?

– Получше.

Он сам довольно легко и ловко подбирает рифмы для сатирических четверостиший, которыми дразнит огородниц; бабы уныло поют:

Куплю на копейку я спичек,
В горячей воде разведу.

А Тимка тотчас сочиняет:

Купи мне на кофтычку ситчик,
С тобой куда хошь я пойду...

– Зачем ты их дразнишь? – спрашиваю я.

– Так себе, – лениво говорит он.

– Ну, а все-таки?

– Ничего, съедят. Не люблю песен ихних, воют, воют, а всё врут. Песнями врать не надо, на то – сказка есть.

Покачивая щетинистой головою, он ухмыляется, в его овечьих глазах блестит насмешливая нежность.

– Вот я – некрасивый, да еще и хромой, а бабы – любят меня, будто я самый красавец. Ей-богу! Мне даже стыдно бывает через это. Один раз я спросил одну такую: «Чего ты ко мне жмешься, коли я некрасивый?» А она говорит: «Некрасив, да по сердцу!»

И, ухмыляясь еще более широко, он уверенно говорит:

– Это они меня – за песни. Только – врут они всё: я – такая, я – эдакая, судьба моя горькая, а все – одинаковы, все одного ищут. Я знаю.

Он – не хвастает, огородницы любят его, уже не раз я видел, как они обнимают его за крышами парников и в группе ветел, битых громом, я знаю, что они ловят его наперебой и мучаются, ссорятся от ревности.

– Видал ты, – спрашивает он, шмыгая длинным, смешным носом, – к хозяину моему ярославка приходит, полотнами торгует? Старик живет с ней, блудня, а она уж мне подмиги-

вает, подлая! Я ее отобью у него.

– Зачем?

– Так.

– Обидишь старика.

– Ничего, съест, – равнодушно говорит Тимка.

– Тебе чего хочется? – спрашиваю я.

Он осматривает стол сытыми глазами.

– Спасибо, ничего не хочу.

– Нет, ты не понял меня! Тебе чего от жизни хочется?

– То есть – как это?

– Ну – в другой город уехать, богатым быть, жениться на красивой, учиться?

– А тебе на что это знать? – спрашивает он, подумав.

– Просто – интересуюсь.

– Ну... Чего я в другом городе найду? Бондари богато не живут. Девушка и здесь найдется в свой час.

Иногда он холодно рассудителен, точно старик, но чаще кажется мне человеком, душа которого еще слепая, не созрела да к тому же и заперта, как птица, в тесной клетке.

В школе его интересует больше всего барыня, у которой «голосище».

– Вроде – как бас, возьмет низко, так даже гул по горнице!

– Она чему учит?

– Как – чему? Петь. Она, брат, говорит мне, что если я выучусь по нотам, так мне тыщи дадут.

– А еще чему учат там?

– Ну... разному. Писать, читать. Всего скушнее – география. Всё – города разные, народы. Один город называется – Тумбукту. Ей-богу! Поди-ка – врут, нет такого города...

В сумраке вечернем его лицо становится благообразнее, одухотворенней. Говорит он со мною охотно, но у него нет слов, которые надолго запали бы в память сердца.

Когда я прошу его спеть, он садится к окну и, глядя в поле широко раскрытыми глазами, поет особенно старательно, особенно четко, рисуя гибким голосом всё, о чем говорит песня.

И в этот час мне почему-то бывало очень жаль его.

Прекрасно чувствуя всё, о чем поет, Тимка не видит, не понимает горя людей, окружающих его, и когда я, с трудом, навожу его на беседу о жильцах Хлебникова, он равнодушно отталкивает меня ленивыми словами:

– Ну, какие они люди! Мусор. Не работают. Тут только Кешин... он хоть около бога живет, четью-миною читает.

И, покачивая длинным носом, облизывая губы тонким языком, говорит уверенно:

– А бабу эту я у него отобью! Не больно молода, а хорошая баба. Отобью.

Потом снова начинает песню. В его песнях всегда кто-то куда-то идет, кого-то любит, тоскует, и все люди песен – разбойники, девицы, бурлаки – такие хорошие, вдумчивые. А сам Тимка – никуда не хочет идти, ни о чем не тоскует и, кажется, не думает ни о чем.

Иван Лукич Хлебников возненавидел Тимку упрямой, необъяснимой ненавистью старого козла.

Хлебников – человек толстенький, но нездоровый, Дыхание у него тяжелое, со свистом, лицо землистое, точно у покойника на второй день смерти, но – это очень бойкий и деятельный человек.

Тревожно благочестивый и всегда озабоченный несчастьями дома, города, мира, он находит десятки причин, по силе которых – нельзя петь песни.

– Эй ты, хромой прохвост, – орет он сиплым голосом, выскакивая по утрам на крыльцо нечесаный, невытый, в сером пальтишке, заменяющем халат. – Ты чего орешь? Ночью в городе пожар был, три дома сгорело, люди в слезах, а ты распустил глотку...

– Отстань, – говорит Тимка.

– Как это – отстань? Я что говорю, – пустяки, шутки?

И Хлебников набрасывается на Кешина:

– Семен Петров – ты что же? Ты человек разумный, ты его учи.

– Я не могу учить чужого человека, – говорит Кешин кротко, но как-то подзадоривающе. – Кабы он мне сын был, а то – племянник и прочее, пятое, седьмое...

– Ах, господи! – горестно изумляется огородник, закатывая под лоб маленькие, беспокойные глазки.

Он, к сожалению, читает по утрам местный «Листок», и

у него, кроме канунов праздников, всегда имеется множество оснований запрещать пение: похороны известных людей, крушение поездов, слухи о плохом урожае хлеба, болезни высоких особ и разные несчастья на суше и на воде.

– Тимка, окаянная душа! – неистово орет он, высунувшись из окна и размахивая газетой. – Третьего дня Исай Петров Никодимов скончался, первейший благодетель города и кавалер орденов, его сейчас отпевают в соборе в присутствии всех именитых людей и губернатора, – не стыдно тебе, лубочная рожа?

Тимка – поет.

– Ты бы, Тимоха, тово, уступил бы и прочее, пятое, седьмое... – осторожно говорит Кешин, когда вой домохозяина надоест ему.

– Ничего, съест, – бормочет Тимка.

Хлебников трясется, топает ногами, лицо у него синее, глаза выкатились. Он доходит в гневе до того, что начинает швырять в хромого кусками обручей, палками, но это не возмущает Тимку; бросив работу, певец удивленно смотрит на огородника и потом, согнувшись, хлопнув себя по коленям ладонями, – смеется, говоря:

Вот – домовой!

– Не дразни, – советует Кешин негромко и – кажется – неохотно.

– Да я его не трогаю, – спокойно говорит Тимка, принимаясь за работу.

А Хлебников, еще более раздраженный этим спокойствием, крикливо жалуется дьякону, задыхаясь, размахивая руками:

– Отец, – ты что же глядишь, ты должен унять его...

– Взбучку дать надо, – рычит дьякон гробовым басом, но когда Хлебников уходит, он грозит вслед ему волосатым кулаком и говорит:

– Фарисей.

И советует Тимке:

– Ты ему, другой раз, повеселее спой!

Все жители Хлебникова с величайшим интересом наблюдают, как, день за днем, растет ненависть огородника к хромотому бондарю, – чуть только на дворе зазвучит сиплый голос хозяина – отовсюду из углов, из окон высовываются встрепаннные головы, напряженные, измятые рожи.

Никто не осуждает Хлебникова, никто не спрашивает его о причинах ненависти к Тимке, все только любят ее как забавным представлением, а некоторые поощряют хромого, науськивая его, как собаку:

– Ты про него спой!

– Чего про него споешь!

– А ты – придумай.

Только дьякон спросил однажды Орлиху, подругу своей жизни:

– Что это он воюет против мальчишки?

Умная и злая актриса объяснила, позевывая:

– Пришел срок, – он, может, всю жизнь ждал случая, на ком зло сорвать, а по плечу ему – никого не было. Теперь нашел подходящего человека и утешается...

Дьякон промолчал, видимо, не поняв старуху, а мне ее слова показались верными. Тимка же как будто хвастался отношением Хлебникова к нему:

– Здорово не любит он меня, видно – встал я ему поперек сердца!

– А что он за человек, по-твоему? – спросил я.

– Дурак человек, – ответил Тимка, не раздумывая.

– Как ты думаешь – за что он тебя не любит?

– Больно мне нужно думать о нем, – равнодушно сказал Тимка и звонко запел:

Метель-вьюга-а...

Кешин поглядел на него, на меня, усмехнулся и погладил усы.

Эх, – метель-вьюга в поле стелется

поет Тимка,—

Идет Дуня за околицу,
На дорогу на проезжую,
Под березы под столетняя-а!

– Завыл, волк! – кричит Хлебников из двери сарая.

Отовсюду на голос Тимки выползают оборванные бездельники, забытые люди, а огородник – неистовствует, кричит Кешину:

– Семен Петров, ты человек благочестивый, – как же ты греха не боишься? Василиса Яхонтова вторые сутки разродиться не может, а он...

– Перестал бы, Тимоха, – говорит Кешин. – Что сердишь зря?

– Никто, кроме его, не сердится, – правильно замечает подмастерье и – поет, а мне кажется, что если б его только хвалили, он пел бы хуже. В воротах явилась и стоит избочась торговка полотном, за спиною у нее тяжелый узел, в руке железный аршин. Ее лыковое лицо без бровей напряжено, губы приоткрыты, точно у птицы, которая хочет пить.

– Сапог нет у подлеца, – кричит Хлебников, – штаны завтра свалятся...

Тимка задорно поет:

Эх, ждала я тебя сорок ночей,
Ожидала – не дремала, не спала,
Черны думы горько думала,
Истомила свою душеньку!

Кешин, помахивая молотком, идет к воротам, говоря:

– Здорово, Прасковья Филипповна! Каковы дела?

Торговка полотном приходила к бондарю аккуратно каждое воскресенье, а иногда и в будни; они запирались в комнате Кешина, Тимка кипятил им самовар и отправлялся в огород, к бабам, – они жили там в дощатом сарае.

Иногда торговка выглядывала из окна, поправляя ловкими руками встрепанные волосы и прислушиваясь к чему-то. Ее круглые, вороватые глаза смотрели на всех и на всё нагло и бесстыдно.

Нередко Кешин приглашал Хлебникова, и тогда на двор из открытого окна падали обрывки солидных речей.

– Ефрем-от Сириин до Златоуста жил али после?

– Точно – не знаю этого.

И всё у них шло хорошо, скромно, аккуратно, но однажды поздно вечером, когда все жители Хлебникова улеглись спать, а я еще сидел у ворот, ко мне подошел Тимка и сказал, немножко хвастливо:

– Уговорился с ней.

– С кем?

– С ярославской. Завтра ночью у нее.

– Узнает Кешин – рассчитает тебя.

– Ну, так что!

Помолчал, покачал головой и вздохнул:

– Беда!

– Какая?

– Так.

И с явным удивлением заговорил тихонько:

– На что мне она, торговка эта? Ведь сыт я, – огородницы меня любят, которая хошь. А – не нравится мне хозяин: зачем он с Хлебниковым в дружбе? За глаза – поносит его, ругает, а сам в гости зовет... Ну, так я его тоже обману!

– Зря ты делаешь это.

– Конечно – зря! – согласился Тимка.

Над полем висели черные клочья облаков, между ними, в синих просветах, блестят круглые звезды. Где-то отвратительно воет собака. Тихонько просвистела шелковыми крыльями ночная птица.

– Скушно, – сказал Тимка. – Пойду спать... На дворе слышался голос Кешина:

– Ты – съезди.

– Надо, – кратко молвила торговка.

– Дом – хороший. Прямо над рекой. И сад. Двенадцать яблонь.

– Ну, прощай.

За ворота вышла торговка, кутаясь в шаль; Тимка встал и пошел рядом с ней, спрашивая:

– Венчаться уговаривает?

Она не ответила, поглядев на меня и не останавливаясь.

– Старый чёрт, – сказал Тимка, погружаясь в сумрак.

– Тише, – внятно отозвалась женщина. – Ты этим – не шути, это дело серьезное для меня...

Над моей головой открылось окно, высунулся Хлебников

в белой рубахе и забормотал:

– Это кто пошел, а? Кто?

Он сейчас же исчез, а через минуту выскочил за ворота в одном белье и, приложив ладонь ко лбу, наклонившись, стал смотреть вслед паре, тихонько уходившей вдоль забора, по медным пятнам луны. Я встал и пошел во двор, но огородник обогнал меня, трусцой подбежал к окну Кешина и застучал в стекло.

– Семен Петров – выдь-ка!

Потом оба они снова побежали за ворота, и Хлебников говорил, захлебываясь словами:

– То-то! У эдаких совести нет...

Кешин на бегу спотыкался и мычал.

Они долго стояли у ворот, глядя вдаль и разговаривая шёпотом, только Кешин дважды громко сказал:

– Так...

Потом он же внятно и спокойно выговорил:

– А пожалуй, дождик будет ночью.

Хлебников ушел первый; проходя мимо крыльца, за которым я стоял, он бормотал:

– Дурак...

Потом, не спеша, прошел к себе чистенький бондарь, вздыхая по пути:

О господи... господи!

Я нашел работу и, уходя из дома на рассвете, возвраща-

ьясь усталый поздно вечером, потерял возможность наблюдать ленивенькое течение жизни в доме Хлебникова. Мне даже казалось, что она стоит на одном и том же месте, как вода в омуте, где не водится никаких чертей и нельзя ожидать значительных событий.

Но вдруг эта жизнь разрешилась темной драмой.

В августе, когда на огородах копали свеклу, брюкву и репу, суток двое непрерывно, днем и ночью, шел дождь, то – ливнем лил, то – сыпался по-осеннему настойчиво, мелкий и холодный. К утру третьих суток дождь снова хлынул потоками, оглушительно бил гром, сверкали страшные синие молнии, а на рассвете тучи точно рукою смахнуло, и на чисто вымытом небе празднично расцвело удивительно яркое солнце.

В огород вышли голоногие бабы, подобрав юбки до колен; из окна моего чердака я слышал их веселый хохот, визг, стук железных лопат, отвратительный скрип несмазанного колеса тачки.

Но вдруг все звуки исчезли, точно утонув в серебряных лужах, между гряд. Я шел по двору, на работу в город, когда меня ударило это неожиданно наступившее молчание и затем, через несколько секунд, пронзительный бабий визг:

– Девоньки-и – кричите-е!

И десяток голосов сразу создал целый вихрь испуганных криков; по грядам из огорода на двор бросились две девушки, одна кричала:

– Иван Лукич!

А другая:

– Батюшки!

Я бросился в огород, – там, у забора, около парников, в раскисшей земле лежал вниз лицом Тимка, плотно облепленный мокрой рубахой. Солнце, освещая влажный кумач на его костлявой спине, придавало материи жирный блеск свежесодранной кожи. Левая его рука, странно изогнувшись, пряталась под грудью, закрывая ладонью лицо, правая откинута прочь и утонула в грязи, торчал только мизинец, удивительно белый.

За спиной у меня раздался густой голос дьякона:

– Это – не молнией, а – лопатой, вот она, лопата!

Босою отекавшей ногой он трогал замытую в грязь лопату и, мрачно надувшись, смотрел на Хлебникова, который стоял рядом с ним в пиджаке, в подштанниках и одной галоше.

– Не тронь, – крикнул Хлебников. – До полиции ничего нельзя трогать!

Дьякон поднес к его лицу огромный красный кулак и громко сказал:

– Это твое дело!

– Чего-о? – взвизгнул огородник, подпрыгнув. – А ты понимаешь, что сказал, а?

Дьякон угрюмо отошел в сторону, а бабы, наваливаясь одна на другую, бормотали:

– Кто же это, кто?

Старостиха, всхлипывая, крестилась и точно молитву читала, повторяя:

– Ему не надо – кто. Ему ничего не надо!

Влажный ветер, стряхивая с деревьев листья, осыпал ими живых и мертвого.

Хлебников сипло ругался, а дьякон гудел:

– Это всё из-за вас, бабы...

День разгорался ярче, сырой воздух, становясь теплее, отдавал запахом бани, укропа. Я смотрел на мизинец Тимофея, жалобно высунувшийся из грязи, на его вспухший затылок, – дождь гладко причесал жесткие волосы, и под ними было видно синюю кожу.

– А где Кешин? – вдруг закричал огородник. – Зовите его!

– Сейчас я схожу, – услужливо предложил дьякон и пошел, тяжело шлепая по лужам босыми ногами. Я отправился за ним. На дворе дьякон тихонько сказал мне:

– Конечно, – это Хлебников... верно?

Я промолчал.

– Ты как думаешь?

– Не знаю кто...

– И я не знаю, конечно. Кто-нибудь убил же! Без озлобления – не убьешь. А кто злобился на него? Ага!

Дверь в квартиру Кешина была не заперта, мы вошли, оглянулись, – в полутемной комнате было тихо, пусто.

– Где же он? – бормотал дьякон. – Эй, Кешин!

На столе у окна, освещенная солнцем, лежала маленькая

книжка, я взглянул в нее и прочитал на чистой странице крупные угловатые слова:

Обупокоені
новопреставлиннаго раба Семенна.

– Смотри-ко, – сказал я дьякону.

Он взял книжку в руки, приблизил к лицу, прочитал запись вслух и бросил книжку на стол.

– Обыкновенное поминанье...

– Его тоже Семеном зовут.

– Ну, так что? – спросил дьякон и вдруг посерел, вздрогнул, говоря:

– Стой – новопреставленного? Ново... Он выбежал в сени, на что-то наткнулся там, загремел и дико зарычал:

– У-у...

Потом в двери явилось его туловище, – он, сидя на полу, протягивал руку куда-то в сторону, пытался выговорить какое-то слово и – не мог, дико выкатывая обезумевшие глаза.

Я, испуганный, выглянул за дверь, – в темном углу сеней, около кадки с водою, стоял Кешин, склонив голову на левое плечо, и, высунув язык, дразнился. Его китайские усы опускались неровно, один торчал выше другого, и черное лицо его иронически улыбалось. Несколько секунд я присматривался к нему, догадываясь, что он повесился, но не желая убедиться в этом. Потом меня вышибло из сеней, точно пробку из бутылки, за мною вылез дьякон, сел на ступенях крыльца и жалобно забормотал:

– Вот, – а я на Хлебникова подумал... ах, господи!

По двору бегали бабы, на огороде кто-то выл.

– Скорей!

Шел Хлебников, держа в руке грязную галошу, и пророчески, громко говорил:

– Живущие беззаконно так же и умрут!

– Да будет тебе, Иван Лукич! – заорал дьякон. – Кешин-то повесился...

Какая-то баба охнула, и стало тихо. Хлебников остановился среди двора, уронил галошу, потом подошел к дьякону и строго сказал:

– А ты, зверь, меня оклеветал вслух, при всех! Меня!

Не заглянув в сени, он сел на крыльцо рядом с дьяконом, успокоительно говоря:

– Сейчас полиция придет!

Но, высморкавшись, добавил с грустью и благочестиво:

– О господи, векую оставил нас еси?

Потом спросил, косясь в темную дыру сеней:

– На поясе удавился, на шелковом?

Дьякон пробормотал:

– Отстань Христа ради...